

Текст №1

Андрей Платонов

КОТЛОВАН

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении. — Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Воцев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Воцев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Воцевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Воцев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Воцев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Воцева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Воцев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Воцев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Воцев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Воцев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Воцев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

— Тебе, Воцев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Воцев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать донныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Воцев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Воцев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей Воцев, — сущности они не чувствуют».

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Воцев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. — Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Воцев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близо, — ответил надзиратель, — если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка, — сказал Воцев, — когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Воцев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Воцев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне — все предавалось безответному существованию, один Воцев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Воцев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Воцев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Воцев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Воцев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдалеке; дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Воцева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!

Воцев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:

— Грабь, саранча!

Воцев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупко отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионеров родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Воцев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Воцев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Воцев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Воцеве и калеке. Воцев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Воцев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Воцев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал он инвалиду. — Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий.

Воцев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека. — Получить от меня захотел?!

— Нет, — ответил Воцев. — Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

— Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, — тихо проговорил Воцев. — Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Воцева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, — нету.

— Я на войне настоящей не был, — сказал Воцев. — Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

— Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Воцев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Воцев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Воцев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горящего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянувший запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Воцев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Воцев. — Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Воцев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Воцев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полуночи косарь дошел до Воцева и определил ему встать и уйти с площади.

— Чего тебе! — неохотно говорил Воцев. — Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Воцев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Воцев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Воцев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел

спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, — и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Текст №2

(1)Вспоминаю, как в середине двадцатых, разговорившись, подошли мы к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник.

(2)Стоял он в то время ещё на своём законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, удивительно подходившему к его маленьким золотым луковкам.

(3)До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где стоял Страстной монастырь. (4)Привычка.

(5)Недаром же Маяковский написал, обращаясь к Александру Сергеевичу: «На Тверском бульваре очень к вам привыкли».

(6)Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склонённой курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря.

(7)Потом наступила ещё более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников.

(8)Незримая всевластная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. (9)Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный нос в воротник бронзовой шинели — почти весь потонув в этой шинели, — с Арбатской площади во двор особняка, где, по преданию, писатель сжёг в камине вторую часть «Мёртвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, — памятник, лишённый индивидуальности и поэзии...

(10)Память разрушается, как старый город. (11)Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. (12)А в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упразднённых улиц, переулков, тупичков... (13)Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... (14)Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили: эффект присутствия!

(15)Я изучал Москву и навсегда запомнил её в ту пору, когда ещё был пешеходом. (16)Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир города во всех его подробностях. (17)Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, множество стареньких, давно не реставрированных церквушек неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры.

(18)Я давно уже перестал быть пешеходом. (19)Езжу на машине. (20)Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрёстках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращения.

(21)Но однажды тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным светофором.

(22)Если бы не пристёгнутые ремни, я бы мог стукнуться головой о ветровое стекло. (23)Это, несомненно, был перекрёсток Мясницкой и Бульварного кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок. (24)Его не было.

(25)Он исчез, этот Водопьяный переулок. (26)Он просто больше не существовал. (27)Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. (28)Как будто их всех вырезали из тела города.

(29)Исчезла библиотека имени Тургенева. (30)Исчезла булочная. (31)Исчезла междугородная переговорная. (32)Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться.

(33)Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне: всё вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо, и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты идёшь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься всё дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично знаешь, что до твоего дома рукой подать, он есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении.

По В.П. Катаеву*

Валентин Петрович Катаев (1897 — 1986) — русский советский писатель и поэт, драматург, киносценарист, журналист, военный корреспондент.

Текст №3

(1)Звягинцев окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза.

— (2)А находишься ты не на своем месте, Петя, потому, что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя: со сквозняком в голове. (3)К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? (4)Вся статья мне бы в танкистах быть, а я в пехоте землю, как крот, ковыряю. (5)Или же взять тебя: тебе бы только на барабанах бить, людей музыкой веселить, а ты, изволь радоваться, бронебойщик, да ещё первым номером заправляешь. (6)А то и ещё лучше истории бывают. (7)Наша часть, в которую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. (8)И вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. (9)Казачков и ставропольцев определили к нам в пехоту: в сапёры пошли казаки, в телефонисты, куда только их не совали, а ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные — их воткнули в кавалерию, штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так далее. (10)И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить да вздыхают, на лошадей глядя, а ростовские — все они мастеровые люди до войны были: то столяры, то маляры, то разные и подобные тому переплётчики — возле лошадей вертятся, боятся к ним приступить, потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. (11)А лошадей в полк прислали с Сальских калмыцких степей — трёхлеток, неуклов, совсем, то есть необъезженных. (12)Понимаешь, что там было? (13)И смех и слёзы! (14)Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную лошадь, соберутся вокруг неё несколько человек, а она, проклятая, визжит, бьёт передом и задом, кусается, а то упадёт наземь и катается по ней... (15)Это что, порядок? (16)Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. (17)Командир эскадрона командует седловку, а из полтораста бойцов человек сорок вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу! (18)Эскадронный схватился за голову руками, а чем эти столяры-маляры виноватые? (19)Вот, братец ты мой, какие дела бывают! (20)А всё это, потому что иногда командиры такие попадают, вроде тебя, с ветродуем в голове.

— (21)Тронул я тебя на беду, — с нарочитым вздохом сказал Лопахин. — (22)Тронул, а ты теперь и несёшь околесицу, всё в одну кучу собрал, и за здоровье и за упокой читаешь, а все это для того, чтобы доказать, что командира из меня не выйдет. (23)Назло тебе командиром стану, вот уж тогда я из тебя дурь выбую, вытяну тебя в ниточку и сквозь игольное ушко пропущу!

М. А. Шолохов*

* Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) — русский писатель, автор таких произведений, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Они сражались за Родину».[/i]

Текст №4

Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки! Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек.

Но именно это и произошло.

С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.

Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас. Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли. Две санитарки помогли мне выбраться, я просил их оставить меня, у меня был пистолет и живым я бы врагу не сдался. Но они унесли меня в низину. По дороге к нам присоединились двое легко раненых бойцов, Ромашов. Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.

- Уйти, конечно, можно. Но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной. Дрезину они нашли под насыпью у разъезда. И пошли устанавливать ее на рельсы. Уходя одна из девушек с сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари - что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал. Мы ждали и ждали без конца.

- Они не вернутся, - нервно сказал он. - Они бросили нас. Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся. Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. Все, кажется, было, как прежде, но все было уже совершенно другим.

Он не смотрел на меня. Потом посмотрел - искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водой и пистолет.

Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!

- Сейчас же верни оружие, болван! - сказал я спокойно. Он промолчал.

- Ну!

- Ты все равно умрешь, - сказал он торопливо. - Тебе не нужно оружия.

- Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?

Он стал коротко, быстро дышать.

- Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего неизвестно.

Теперь он в упор смотрел на меня. Он собрал мешки. И через пять минут уже среди далёких осин мелькала его сутулая фигура.

Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта - это было вполне равносильно убийству, а может быть, даже хуже убийства.

Каверин В.А.

Текст №5

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат.

И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки У азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неугомонный шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы.

Драгунский Виктор Юзефович.

Текст №6

Иван Алексеевич Бунин

Слепой

Если выйти на мол, встретишь, несмотря на яркое солнце, резкий ветер и увидишь далекие зимние вершины Альп, серебряные, страшные. Но в затишье, в этом белом городке, на набережной, - тепло, блеск, по-весеннему одетые люди, которые гуляют или сидят на скамьях под пальмами, щурясь из-под соломенных шляп на густую синеву моря и белую статую английского короля, в морской форме стоящего в пустоте светлого неба.

Он же сидит одиноко, спиной к заливу, и не видит, а только чувствует солнце, греющее его спину. Он с раскрытой головой, сед, старчески благообразен. Поза его напряженно неподвижная и, как у всех слепых, египетская: держится прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие загорелые руки, приподняв свое как бы изваянное лицо и слегка обратив его в сторону, - все время сторожа чутким слухом голоса и шуршащие шаги гуляющих. Все время он негромко, однообразно и слегка певуче говорит, горестно и смиренно напоминает нам о нашем долге быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь наконец и кладу в его картуз, перед его незрячим лицом, несколько сантимов, он, все так же незряче глядя в пространство, не меняя ни позы, ни выражения лица, на миг прерывает свою певучую и складную, заученную речь и говорит уже просто и сердечно:

- Merci, merci, mon bon frere![1]

«Mon bon frere...» Да, да, все мы братья. Но только смерть или великие скорби, великие несчастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой убедительностью, лишая нас наших земных чинов, выводя нас из круга обыденной жизни. Как уверенно произносит он это: mon bon frere! У него нет и не может быть страха, что он сказал невпопад, назвавши братом не обычного прохожего, а короля или президента республики, знаменитого человека или миллиардера. И совсем, совсем не потому у него нет этого страха, что ему все простят по его слепоте, по его неведению. Нет, совсем не потому. Просто он теперь больше всех. Десница божия, коснувшаяся его, как бы лишила его имени, времени, пространства. Он теперь просто человек, которому все братья...

И прав он и в другом: все мы в сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, - я несу в себе жизнь, ее полноту и радость. Что это значит? Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть. И вот он, этот слепой, зовет меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мне; тебе все родственно в этом мире в это прекрасное утро - значит, родствен и я; а раз родствен, ты не можешь быть безчувствен к моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, как и плоть всего мира, едина с твоей, ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга и всего сущего!»

Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, ненависти, злом состязании.

Там равенства не может быть, никогда не было и не будет.

25 мая. 1924

[1] Спасибо, спасибо, добрый мой брат! (франц.)

Текст №7

— Кто же он?

— Федор Савельевич Конь.

— Неужто?

— Да, тот самый единственный русский зодчий, который торжественно именовался как «государев мастер палатных, церковных и городских дел». Родился он тут же, под Дорогобужем, а сын его был казначеем этого монастыря. Федор Конь, как вы знаете, построил два великих сооружения-Смоленский кремль и Белый город в Москве, а тут он появился около 1575 года. Мастер скрылся в этот монастырь и начал обстраивать его. Вознесся над лесом собор с громадной центральной главой и четырьмя поменьше, явилась чудо-трапезная, о которой мы уже говорили, колокольня в шестерик с огромными арочными проемами и шлемовидным завершением. Характер кладки, стилевые приемы, зодческий почерк в сочетании с документами и биографическими данными Федора Коня убедили меня в том, что именно он, этот великий русский зодчий, создал на своей родине еще один бессмертный памятник мастерства, искусства и духа, который еще при его жизни считался лучшим архитектурным комплексом Московского государства... Белый город Федора Коня безвозвратно исчез, поэтому так важно было сохранить Болдинский монастырь!

Жадно оглядев окрестности, я ничего не увидел-ни куполов, ни каменного шатра, ни колокольни... Но вот за прудом показалась низкая серо-белая стена и внутри ее что-то неопределенное и бесформенное-какое-то приземистое, свежего кирпича строение, деревянные навесики, груды старого камня, и в центре всего возвышалась гора, поросшая зеленой травой.

— Хорошо видите?-спросил Петр Дмитриевич, приостановившись на плотине.

— Да, — поперхнулся я.

— Они взорвали тут все!-крикнул он, и руки его, сжавшие набалдашник палки, побелели в суставах.

— Зачем? — растерянно спросил я, хотя хорошо знал, зачем фашисты планомерно и целенаправленно уничтожали памятники старины; затем, чтобы уничтожить этот предмет нашей национальной гордости, лишить нас исторической памяти, унижить презрением, запугать чудовищной аморальностью и даже обеднить в какой-то мере материально, потому что хорошо знали-мы все это будем когда-нибудь восстанавливать!

В тот болдинский день я узнал, что варварское уничтожение собора Федора Коня в 1943 году было также актом бессильной злобы и мстительности — в бывшем монастыре располагался штаб партизанских соединений этого района Смоленщины. В крохотном музейчике, еще с двадцатых годов хранящем несколько экспонатов, некогда собранных П. Д. Барановским, лежат на полках партизанские пулеметы, гранаты, висят портреты патриотов-партизан. Краткий отчет о действиях одного из соединений, которым командовал Герой Советского Союза Сергей Гришин: взорвано около ста мостов, пущено под откос 295 паровозов и 8486 вагонов с грузами, уничтожено более двадцати тысяч гитлеровцев...

Окруженные в монастыре партизаны сражались до последнего патрона. Оставшихся в живых согнали к стене Троицкого собора и расстреляли из пулеметов. На этом месте стоит сейчас

скромный обелиск, но если думать о священной Вечной памяти, то должно восстать из праха все окружающее его!

Петр Дмитриевич, хватаясь руками за будылья, карабкается на гору камня и ждет, когда поднимутся остальные. Смотрит невидящими глазами вокруг, но у меня такое ощущение, что видит он все лучше других. Так оно и было, потому что никто из нас не видел архитектурного ансамбля Болдина целым, не входил в собор, не поднимался на колокольню.

— Старая Смоленская дорога — вот она, вдоль стены тянется, — показывает он рукой. — Стена имела четыре угловые башни... А там, у главных ворот, смоленские студенты выложили часть стены. Хорошая работа! Ну а мы общими усилиями трапезную возвели заново по моим ранним обмерам. Очередь колокольни. Первый ярус, как видите, готов... Видите блоки под навесами? Они добыты из такой же горы развалин, пронумерованы, и каждый уже знает свое место. Будем поднимать эти куски старой кладки и клеивать... Собор был взорван умелыми разрушителями, однако огромные куски стен упали целехонькими-Федор Конь делал раствор доброго замеса! Все фрагменты поставим на место...

Чивилихин Владимир Алексеевич.

Текст №8

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным – будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие – пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!

Тихо падает дождь на полях.

И в края, где горит дымно-алый осенний закат,

Пожелтлые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красоты:

И опалами блещет печаль о любимом Саади

На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» – этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море – Черное, Балтийское или Средиземное, – а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море – родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей. В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и по существу довольно горькой молодости. Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота. Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история.

Паустовский Константин Георгиевич.

Текст №9

— Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, — говорит она. — Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?

Она минуту думает и спрашивает меня:

— Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?

— Да, — отвечаю я.

— Гм... Что же мне делать?

Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.

Мои товарищи, терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.

Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?

— Не могу.

— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же всё может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степаныч, — перебивает меня Катя. — Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье.

— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?

— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся краснеет. — Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и... и много самолюбия! Вот!

Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.

Антон Павлович Чехов.

Текст №10

Отработав свое время на почте, она по первому морозцу бежала на лекции и поскользнулась. И, несмотря на природную грациозность и отточенную танцами ловкость, грохнулась так, что осталась сидеть на тротуаре, глядя, как распухает щиколотка. Несколько проходящих парней легко подхватили Дину, отнесли в ближайшую поликлинику.

- Такие ноги надо беречь, - ворчливо заметил врач. Он был молод, очень серьезен, в словах не чувствовалось пошлости, и Дина начала краснеть. Доктор оказал помощь и велел подождать. А через час вызвал такси, отвез в общежитие и довел до комнаты.

- Я приду через три дня. Ногу постарайтесь не беспокоить. И вышел. А она глядела в потолок и улыбалась, пока не пришла соседка по комнате. И Дина немедленно рассказала, какой доктор замечательный, как он смущается, какой он серьезный и наверняка очень талантливый. Доктор... Пора уже назвать его, как его вскоре начала называть Дина.

Так вот, доктор Боря ходил каждый день, сам делал компрессы и массаж, но говорил мало, и Дина трещала за двоих. Болтала, потому что смущалась, ощущая, что все глубже утопает в не очень еще ясном для нее чувстве, а доктор молчал по той же причине. Но когда нога окончательно поправилась, вздохнул.

- Ну вот. Я вам больше не нужен.

- Почему? - Дина покраснела и тут же продолжила: - Я думаю... То есть мне кажется, что одной вечером мне ходить нельзя. Например, в кино. Он улыбнулся, словно осветившись изнутри.

...За три дня до свадьбы купил обручальные кольца, но выглядел столь мрачным, что Дина встревожилась.

- Что-нибудь с мамой?

- Нет, нет, все в порядке.

- На тебе лица нет, Боренька.

- Все в порядке, - с ноткой раздражения повторил он.

- Извини, я сегодня должен уйти пораньше, а завтра дежурю, так что...

Встретиться решили в двенадцать в сквере у Большого театра. И без пятнадцати двенадцать сияющая и очень похорошевшая Дина появилась там в подвенечном наряде с целой свитой друзей и подружек. Растроганные пенсионеры уступили скамейку; невесту усадили в центре, и девочки весело и чуть завистливо щебетали вокруг. В двенадцать он не пришел. Зато пришли ребята с параллельных потоков, и все принялись еще больше шутить и смеяться. Только стали чаще поглядывать на часы. И Дина тоже смеялась, но уже чуть напряженнее. Он не пришел и в час. Шутили уже не все, но все еще улыбались. Даже невеста. А в половине второго троих отрядили во Дворец, поскольку кто-то предположил, что жених мог по рассеянности все перепутать. Не появился он и в два. В три они перестали шутить и молча просидели еще почти два часа. А потом Дина вдруг вскочила и помчалась в метро.

- Где Борис? - удивленно воззрился на нее главврач поликлиники.

- Наверное, к Индии подлетает. Он ведь давно подал документы, а оформили его три дня назад. Знаете, как у нас бывает? То ждешь месяцами, то - вылетайте немедленно.

А ведь он и вправду уже любил ее. Нет, нет, в нем ничего не было от классического Подколесина, он не сбежал от своей суженой. Он просто улетел к новому месту работы, которого так долго добивался и куда его так долго оформляли. Оформили одного, свободного, холостого, и доктор Боря провел тяжкую ночь. Что делать; отказаться от мечты или от любви? Сказать Дине, что он уедет сейчас, а она оформится потом, после университета? А оформят ли ее?

Он не дежурил за два дня до свадьбы: он считал. Взвешивал все "за" и "против", все плюсы и минусы и явился за сутки к невесте, уже имея билет до Калькутты.

Не знаю, где и что именно она достала и сколько выпила, но спасли ее с трудом. Месяца два лежала в больнице, полгода в психиатрической лечебнице. Потом выписали, но ни в университет, ни к матери в Пермь она не вернулась.

Борис Васильев.

Текст №11

Бессмертное имя

Инкерман. Последний туннель. Все бросаются к окнам вагона. Но, даже не глядя в окна, можно догадаться, что поезд подходит к Севастополю. Отражения воды бегут по потолку вагона, морской ветер вздувает занавески, гремит сигнальная пушка. Полдень! Синевой, блеском прибрежной волны, желтыми скалами, сухим огнем бьет в глаза, слепит Севастополь.

А потом — знакомый половине России севастопольский вокзал. Ильф писал о нем: «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».

В этих словах с необыкновенной сжатостью передан Севастополь. Прочтя эти строки, невольно хочется спросить соседа: «Помните?» — и услышать ответ: «Да, конечно, помню. Тополя у самых вагонов. Какой это замечательный город!»

Таким мы помним Севастополь — город русской славы, боевых кораблей, памятников, фортов, заржавленных круглых ядер, застрявших в стенах домов, город бастионов, адмиралтейских якорей, Малахова кургана, цветущего миндаля и мягких, всегда немного таинственных вечеров.

Город великих адмиралов — Лазарева, Корнилова, Нахимова, город Пирогова, Льва Толстого, Матюшенко, лейтенанта Шмидта, Севастополь был и будет городом славы. Его слава — в великих традициях, в величавой его истории, в том, что Севастополь — гордый город. Он был гордым во времена обороны 1854 года, он был гордым в годы революции, и он остался таким же гордым и непреклонным в дни последней восьмимесячной осады — одной из самых суровых осад на земле.

Последние защитники Севастополя — моряки — погибли на Херсонесском мысу, но не сдались. В последние часы у них хватило силы духа, чтобы, яростно отбиваясь от немцев, передавать из уст в уста с привычным юмором историю, случившуюся со старым пароходом.

Старый пароход одним из последних уходил из осажденного Севастополя. Команда его была уверена, что пароход рассыплется от первой взрывной волны — не то что от прямого попадания бомбы. И вот бомба попала в пароход, прошла через него насквозь, как через бумагу, пробила ветхое днище и взорвалась на морском дне. Команда подвела под пробоину пластырь, и пароход пошел своей дорогой.

Судьба этого парохода, может быть, подлинная, а может быть, выдуманная каким-нибудь шутником-черноморцем, веселила последних защитников Севастополя. Они до конца остались верными флотской традиции отваги и веселья. Даже умирая, они шутили.

Если бы немцы были способны понимать движения человеческой души, то этот смех привел бы их в содрогание. Они бы поняли, что, взяв Севастополь, они его уже потеряли, что бессмысленно думать о порабощении русских и что возмездие будет беспощадным.

Севастополь снова наш. Он расцветет с новым великолепием. Несколько месяцев назад, когда наши части стояли еще под Перекопом и не было наступления, группе московских архитекторов и скульпторов было уже предложено готовиться к восстановлению Севастополя. Мы знали, что вернемся в Севастополь. Мы знаем, что огромным трудом и вдохновением снова создадим этот порт и город.

Но чтобы воссоздать его, нужно, почаще вспоминать о том Севастополе, который мы все любили и знали. Он был живописен. В нем были явственно видны черты морского города, морской крепости, стоянки флота. Даже на улицах, удаленных от моря, все напоминало о нем — якорные цепи вместо перил, ракушки, трещавшие под ногами, мачты с шумящими по ветру флагами, особая приморская архитектура домов из инкерманского выветренного камня и лестницы — «трапы», соединявшие его нагорные улицы.

Морская поэзия здесь становилась жизнью, реальностью, бытом. Улицы, запруженные в сумерки матросами с кораблей, белизна одежды, скромное золото, разлетающиеся по ветру ленточки бескозырок, синие громады крейсеров, дым, визг сирен, сигнальные огни, плеск воды, взмахи прожекторов, крики лодочников, смех, песни — все это, смягченное южным вечером, давало ощущение приподнятости и праздничности.

Новый Севастополь будет еще более радостным и прекрасным, чем был прежний. Пусть все морские традиции и наша морская история найдут себе отражение в этом городе. Пусть к памятникам вождей и старых адмиралов прибавятся новые памятники — защитникам Севастополя, тем, кто его освободил, наконец, памятники великим мореплавателям, путешественникам, флотоводцам. В Севастополе должны быть памятники Ушакову и Лазареву, Миклухо-Маклаю и тем нашим летчикам, что выросли около Севастополя, на Каче. И кроме того, должны быть памятники боевым кораблям.

Можно только завидовать архитекторам, скульпторам, инженерам, садоводам, художникам, плотникам и каменотесам, литейщикам и монтерам, которые будут работать над созданием нового Севастополя.

Слава былых времен находила свое выражение главным образом в бронзе и мраморе. Слава нашего времени найдет себе выражение не только в этом, но и в самом городе, в его зданиях, в его улицах, в его садах, в его заводах и культурных учреждениях, где все должно говорить о великой борьбе нашей страны за счастье, справедливость, за народное богатство, за независимость и культуру.

Из этой борьбы мы выйдем победителями. В память этой борьбы и победы мы должны возродить наши города во сто крат более прекрасными, чем они были, возродить, зная, что в этих городах будет жить счастливое поколение людей.

Бессмертное имя «Севастополь» знает весь мир — от Гренландии до мыса Горн и от Аляски до Сиднея. И это имя будет всегда сиять в веках как символ мужества и любви к своему Отечеству.

1944 г.

Паустовский Константин Георгиевич.

Текст №12

Прокопия Ивановича привезли в больницу глубокой ночью. Его провожала жена. Ввалившиеся глаза больного взывали к участию. Сухие с синевой губы еле могли шевелиться.

-Прасковьюшка, умру я, наверное. Чего не так прости...

Маленькая седовласая женщина с лицом, испещренным морщинками, коснулась рукой его лица.

- Что ты, Пронюшка, - и заплакала.

Потом, когда затих шум лифта, увозящего Прокопия Ивановича в палату, она вытерла глаза и ушла из больницы, тихо закрыв за собой дверь, будто боясь разбудить тех, с кем теперь ее муж. Хирург, осмотрев больного, нашел его состояние безнадежным.

-Катастрофа в животе. Легочно-сердечная недостаточность. Вряд ли старик доживет до утра, сказал он сестре. Поставьте капельницу с глюкозой, сердечными, витаминами. Дайте кислород.

До утра больной дожил, и хирург принял решение оперировать Прокопия Ивановича, хотя отчетливо понимал, какому огромному риску подвергал его жизнь. Но другого выхода не было. Операция шла долго. Хирургу не раз вытирали потный лоб. Больной лежал в забытьи под действием смеси наркотических газов, что давали ему дышать. В вену его руки медленно, капля за каплей, вливалась живительная жидкость. А Прасковья Андреевна, измученная бесонной ночью и плохими мыслями, уже сидела в вестибюле больницы. После окончания операции хирург огорчил ее:

-Не стану скрывать, положение серьезное, хотя сделано все, что в наших силах. Прошу Вас, если можете, помогите нам, поухаживайте за ним, -добавил он.

-Ладно... -только и промолвила Прасковья Андреевна.

В палате Прокопий Иванович лежал неподвижно, с закрытыми глазами, ни на что не реагировал. Лицо его было бледным, дыхание еле заметным.

-Пронюшка, как ты?

-Это ты, Прасковьюшка? - и опять сделался ко всему безучастным.

Несколько дней подряд, с утра и до позднего вечера, была она с ним. Ложечку водички даст, чтобы во рту не сохло, челочку волос причешет, чтобы на глаза не спускалась, умоеет, подушку другой, холодной стороной повернет. Вот так... Хорошо-то как будет! Потом сядет возле него, руку его в свою возьмет. В одну руку Прокопия Ивановича беспрестанно поступали лекарства, по другой текла любовь Прасковьи Андреевны. Больному становилось лучше. На пятый день хирург осматривал Прокопия Ивановича раньше, чем пришла Прасковья Андреевна. На теле его он увидел старые рубцы и теперь решил спросить:

-Что это у Вас?

-Немец...

-Наверное, награды есть?

-А как же! От воротника до пояса.

-А что-то сегодня жены не видно. Не придет? -Придет... Пусть-ка не придет! -и стукнул кулаком по краю кровати.

Радость охватила хирурга от этих слов и жеста больного. Он увидел в них знамение выздоровления Прокопия Ивановича: мужчина только чувствуя силу может показать другому, какую власть он имеет над своей женой. Вечером хирург снова зашел в палату. Прокопий Иванович улыбался. Его рука опять покоилась в руке Прасковьи Андреевны. Старый врач знал о великом целительном свойстве любви: как хилый цветок наливается соком от солнца, так больной человек оживает от любви. Недаром для борьбы за жизнь Прокопия Ивановича он взял себе в союзницы маленькую седовласую женщину. Любовь ее он заметил еще в ту ночь, когда принимал больного, показавшегося ему безнадежным.

Н.И.Батыгина.